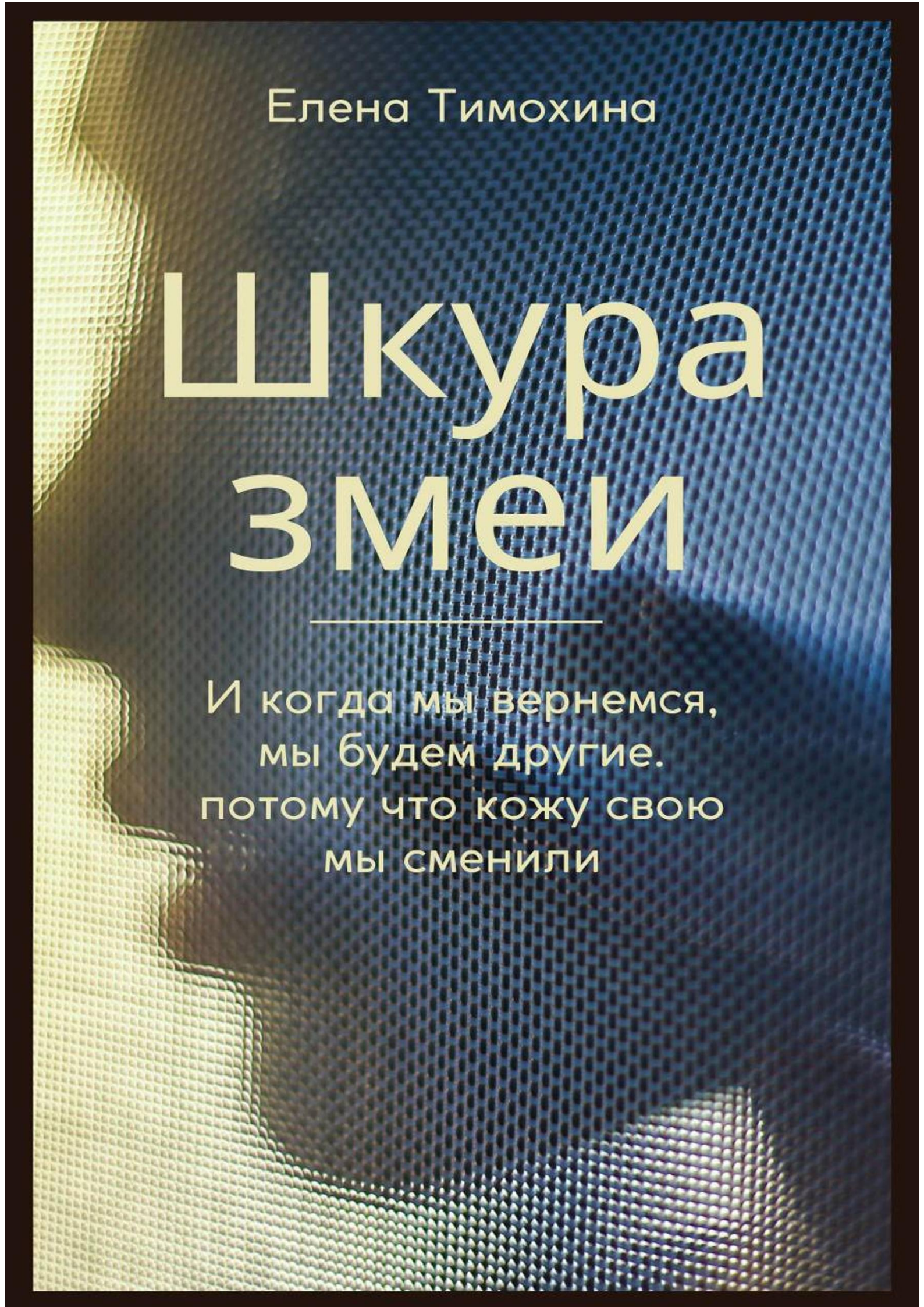




Елена Тимохина

Шкура змеи

И когда мы вернемся,
мы будем другие.
потому что кожу свою
мы сменили

Елена Тимохина

Шкура змеи

«Автор»

2026

Тимохина Е. Е.

Шкура змеи / Е. Е. Тимохина — «Автор», 2026

Это исповедь женщины, которая возвращается на родину через 35 лет отсутствия, чтобы получить наследство. У нее нет денег, нет дома – только два чемодана старья, больной и приятель, пустивший ее под свою крышу. Из активов – и поддельная доверенность от умершей матери. Она примеряет сережки, торгует шторами, пьет антибиотики от страха и покупает золото, чтобы вывезти наличные. Бытовое унижение превращается в священнодействие, а каждая ссора из-за еды – в битву за человеческое достоинство. Это текст о нищете как искусстве, сыновьем молчании и странной нежности между двумя людьми, которые ненавидят друг друга достаточно сильно, чтобы не расстаться.

© Тимохина Е. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

История Лены Л.	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Елена Тимохина

Шкура змеи

История Лены Л.

И вот я на родине спустя много лет и снова без денег. Это так часто случается в моей жизни, что я не удивляюсь. Надо выпутываться. И я выпутаюсь, не сомневаюсь. На самом деле я в родном городе, но такое чувство, что я снова на чужбине. Это из-за безденежья. С деньгами мы повсюду дома.

Я не узнаю улицы, не узнаю дома. Речь я понимаю, это единственное, что мне остается – речь. Я говорю и не могу наговориться. С прохожими на улице, с пассажирами автобуса. подхожу и заговариваю. Я ничего не делаю плохого, просто вступаю в разговор.

Нужно бы позвонить в ту страну, откуда я приехала, но это непросто. Телефон у меня при мне, но сим-карта не поддерживает местных сотовых операторов, а мой тариф здесь считается заграничным, им лучше не пользоваться. Да и что от него толку, если звонить некому. Сын ссудил меня деньгами на покупку билета, и это все, что он мне удалось добиться. Он сказал, что больше у него нет денег. Все ушло на переезд в другой город, где ему обещали работу. На время он определил кошку в приют и платит за ее содержание. Когда он сказал, сколько он на нее потратил, я ахнула. Я трачу на себя содержание кошки.

Можно купить новую сим-карту с предоплатой, но это дополнительные траты, а я пока не уверена, что что в этом нуждаюсь. Без многих вещей вообще обойтись. Я без денег, но скоро буду богата, когда получу наследство. Оно так себе, но для меня значительная сумма. Проживу безбедно год, а, может, растяну и побольше.

Мое путешествие начинается с пустых карманов, но я рассчитываю их здесь наполнить. Пока я могу наполнить их грязью, тут как раз прошел дождь. Деньги – та же грязь, но не в моральном смысле. Мораль здесь ни при чем. Грязь денег в том, что они связывают вас по рукам и ногам. После перелета очень хочется есть, но прежде следует позаботиться о жилье. Легко морализировать, и я покупаю булку и съедаю ее за минуту, и хлеб становится чудом, который примиряет меня с этим новым городом, у которого я буду выпрашивать деньги, а, может, и украду их – это как получится.

Я вспоминаю ночи в том городе, где я живу. Когда мне на карту поступали деньги, я тратила их сразу, порой залезая в перерасход в первый же день. Я не покупала дорогих вещей, но те, что на распродаже, привлекали меня доступностью, которой просто не в силах противостоять. Я ждала поступления пособия, потому что тогда наступал момент, когда передо мной разом открывались все двери мира. Потом покупки переставали быть драгоценностью, они оседали в картонных коробках, которые загромождают мои три комнаты, так что от всего странства остался только узкий проход от кровати к столу. – он тонкий, как рисунок вен на руке. Сейчас моя драгоценность – это телефон, который молчит. Симе карта иностранного оператора – как метка, отныне все знают, что забрела бродяга. Мне транслируют: ты никто здесь, ты прохожий, твои контакты умерли. Это не страшно. Такое бывало со мной несколько раз – и что же, я жива.

Сын дал мне денег ровно настолько, чтобы я доехала до места, где меня ждет наследство, ни гроша лишнего. У него свои расходы, он платит за кошку. Выходит, кошка для него реальнее, чем я. В этом есть жестокая логика, которую я признаю, каждый живет, как ему нравится. Он не предал меня. Он просто совершил акт правильной экономии: кошка в приюте – это страдание без его участия, чистое, как слеза. А я – это шум, это прошлое, это женщина, которая

преследует его уже 35 лет. Чтобы меня любить, нужно меня выдумать. Сын не выдумывает. Он платит немного денег. И на этом мы квиты.

В этих отношениях мы соблюдаем верность друг другу. У меня когда-то были друзья, которым я бы могла позвонить. Но что им сказать? «Я уехала за богатством»? Это вульгарно. «Не исключено, что вернусь ни с чем»? Это ложь, потому что наследство ждет. Единственный честный разговор – это молчание. Будем оставаться без связи.

Наследство небольшое, и я уже решила, что стану тратить его медленно, с наслаждением. Больше никаких вещей. Моя жизнь превратилась в коробки вещей, которые ждут меня в квартире, это чужие вещи, которыми я так и не пользовалась. Мне не надо чужого. Деньги мне нужны для другого. Это будет мое волшебное превращение. Это станет победой над миром чужого порядка. Вообще, наследство – это кража имущества у смерти. Кто-то умер, чтобы я жила год безбедно. Это неприлично быстро забывается. Я уже не помню лицо тетушки, которую в последний раз видела 30 лет назад, но я буду помнить каждую ее копейку, потому что она пришла из пустоты.

Об этом я думаю, когда еду в автобусе. Этот город не помнит меня, так с чего же его любить. У меня идеальное состояние: я здесь невидимка. Без денег, без связи, без прошлого. Только будущее, которое продлится ровно год, пока я не получу наследство. А потом я снова вернусь в свою квартиру с коробками.

Не будь у меня чемоданов, я бы прошла пешком через весь город. Это был бы долгий путь. Я бы смотрела на витрины, особенно мне нравится роскошь ювелирных магазинов. Любоваться не унижительно, потому что никто не надеется обладать выставленным там богатством.

Я считаю, сколько стоит содержание кошки, которое я трачу на себя. Кошка в приюте ест дешевый корм. Я здесь буду есть то, что подарит случай. И это честный обмен.

А симкарту я куплю позже. Покамест мне требуется тишина, чтобы перестроить мысли.

...Первым делом я получила деньги в банке, долг за двадцать три года. Вышло не так много, как хотелось бы, но я уже много лет не держала в руках столько денег, и теперь беспокоюсь о них.

Сколько сил мне потребовалось, чтобы выпарапать мои кровные. Я всех довела до ручки – менеджеров банка, оператора в обменнике, кассира в кассе метро.

Пришлось идти за едой, мне сказали место, лучше бы я туда не ходил. Магазин дорогой, на кассе слупили полторы тысячи за ерунду. Я тогда не знал, много это или мало, но дома разобралась, и цены повергли меня в ужас. Сейчас я никому не доверяю.

Итак, я попала на изнанку бытия. Это не просто неухоженная квартира. Здесь мир вывернут наизнанку, и чистота невозможна вообще, потому что грязь – не случайность, а субстанция, из которой здесь все сделано: квартира с сырыми пятнами на потолке, клеенка с чернилами – все. Сначала Борис показался мне жалким, просто грязный старик. Я обрадовалась ему: мы ведь так давно не виделись. Просто я не сразу увидела грязь, она перешла на него. Она стала частью его тела, его кожи, его сущности. Он весь в старческих пятнах, но они не только снаружи. Они и внутри. Это видимое проявление внутреннего распада.

Пятна – по всей квартире: от краски – на полу, от сырости – на штукатурке, следы чернил на клеенке, грязь выпирала и все время попадалась на глаза. Это отвлекало ее от мыслей. Пятна навязывались. Грязь требовала внимания. Она не могла их не видеть, они постоянно напоминали о том, где она находится.

Краска, сырость, чернила – являлись разными субстанциями, которые она изучала сначала в институте потом в аспирантуре, а потом в лаборатории самолетостроительной компании – три месяца испытательного срока, который она не прошла. Все субстанции создавали **единое поле грязи**. Как давний исследователь субстанций она могла утверждать: это не хаос, а **порядок наизнанку**. В нормальном мире чистота – норма, грязь – отклонение. Но там, где чело-

век позволял субстанциям взять верх, все происходило наоборот, и грязь становилась нормой. Чистота была бы отклонением, поэтому ее не было и не будет.

Возможно, пятна на потолке образовались от мыслей Бориса, который не спал ночью. Сырость происходила от невыплаканных слез. Все было бы значительно проще, если бы она смогла выплакаться, но она потеряла способность. Об этом ей сообщил врач, назначая «искусственные слезы», которые требовалось закапывать во время работы на компьютере. Чтобы она лучше видела. Но смотреть можно было только на грязь, та постоянно **требовала** внимания. Она была не фоном, напротив, выступала хозяйкой этой квартиры. Борис оставался на заднем плане. А что до нее самой, то она искала место, где бы укрыться. Но щели были заняты тараканами, а она все время попадалась на глаза грязи. Борис не мог забыть о ее существовании и каждую минуту помнил, где она и что делает. Она хотела бы сделать вид, что все нормально, погрузиться в иллюзию, но не могла этого сделать – как и плакать. Так и пришлось жить с грязью, которая напоминала о себе каждую секунду.

Но потом она успокоилась. Поняла, что грязь – это не отсутствие чистоты. Это присутствие времени. Время оставляет следы. На стенах. На коже. На душе. Борис – человек, которого время не мыло. Оно его пачкало. Слой за слоем. Теперь она сама – грязь. Жертва собственного бытия, которое превратилось в грязь. И она вынуждена жить в этой грязи, дышать ею, прикасаться к ней.

Хозяин квартиры Борис не живет в грязи – он сделан из грязи. И я с каждым днем все больше становлюсь похожей на него.

Сегодня я совершила преступление, заставила людей работать. Менеджер банка покраснел, когда я в пятый раз спросила про комиссию. У него дергался левый глаз. Это было непонятно. Чего непонятного? Я выцарапывала не деньги. Я выцарапывала свое право быть. Двадцать три года – это срок. За такой срок вор гниет в тюрьме или становится святым. Я стала и тем, и другим: я сгнила в отсутствии, а теперь требую канонизации через купюры.

Они пахнут не так, как раньше. Новые деньги пахнут пластиком и равнодушием. Старые, которые я прятала в подкладку пальто, пахли потом и табаком. Эти – стерильны, как операционная. Они хотят лежать в сейфе и нежиться. Но я заставляю их страдать. Я буду носить их в кармане куртки, мятыми, без кошелька. Пусть рвутся. Деньги должны быть унижены, иначе они – господа.

В обменнике меня обслуживала девушка с длинными ногтями. Она пересчитывала мои деньги с таким видом, будто я пришла сдавать бутылки. Я возненавидела ее. То, как она поджала губы, когда разглядывала меня. Положить бы ее взгляд в карман рядом с деньгами. И когда мне станет страшно, достать его и вспомнить: «Вот лицо человека, который считает меня ничтожеством». Это лучшее лекарство от гордыни.

Кассирше в метро тоже все равно. Я спрашиваю ее, можно ли будет вернуть деньги за неиспользованные поездки. Она даже не взглянула на меня. Это оскорбительнее всего. Я для нее – пустое место. Пустое место, которое купило билет.

Я оставила след только у менеджера банка. Бедный менеджер, которого я извела вопросами. Ему теперь снится буду я – старая, злая, с неправильным паспортом. Это моя месть.

Сегодня я была в дорогом магазине, последовала совету Бориса. Лучше бы я туда не ходила.

Там отвратительно пахло. Я взяла с полки то, что казалось безобидным: хлеб, масло, сыр в упаковке. На кассе женщина с лицом палача пробилла чек. Полторы тысячи. Я отдала деньги, не моргнув глазом. А дома, когда я разложила покупки на столе (стол чужой, скрипучий), я поняла: меня обокрали. Не в том смысле, что взяли лишнее. А в том, что заставили меня участвовать в собственном ограблении. Я сама протянула купюры. Я сказала «спасибо».

Истратила полторы тысячи за ерунду. Пересчитала покупки: банка оливок, упаковка тофу (я не ем тофу), три помидора, пастила (я ненавижу пастилу). Я купила то, что не люблю,

потому что испугалась показаться бедной. Я хотела быть как все, надела маску сытости, и эта маска стоила мне дневной нормы еды на две недели в той жизни, где я была нищей и свободной.

Сейчас я никому не доверяю. Это ложь. Я не доверяла и раньше. Но раньше я доверяла своему нутру. Оно говорило: «Укради, соври, спрячься». Сейчас нутро молчит. Потому что деньги – это глушитель. Они делают тихо. Слишком тихо. Я слышу, как тикает холодильник чужой квартиры, где я живу. Я слышу, как деньги шевелятся в кармане. Они живые.

Я была дисциплинированной тридцать пять лет. А сейчас я сошла с ума, купила пастилу, которую ненавижу. Заплатила кассирше, которая меня презирает. Я выцарапала свои кровные у людей, которые теперь будут меня помнить, как сумасшедшую.

Завтра я пойду в другой магазин. Я возьму самую дешевую еду. Я буду торговаться, даже если это запрещено. Я положу деньги в два разных носка. Я разделю их, как разделяют враждующие армии. Потому что единственный способ не сойти с ума от обладания – это относиться к деньгам как к военной добыче: с подозрением, с жестокостью и безо всякой любви.

Любовь кончается там, где начинается чек. Это говорю я, у которой денег никогда не было.

Борис считается моим другом, я живу у него дома. Этого больного мужика я нашла в соцсетях. Двадцать пять лет назад мы вместе работали. Потом я эмигрировала. Также эмигрировала его семья, и Борис живет один. Ему скучно. Сначала он был рад моему приезду. Предупредил, что есть нюанс: он ждет госпитализации, и когда его поместят в больницу, мне придется ночевать на улице. Я уже свылась с мыслью ночевать на улице, потому что отель стоит дорого. Но пока я живу у Бориса. Он больной и спит днями напролет, а когда бодрствует, то достает меня с нравоучениями по поводу магазинов, учит ходить в дорогой, потому что в дешевых водятся крысы.

Борис болен. Это его единственное достоинство. Болезнь делает его честным. Он не притворяется, что я ему нужна. Ему скучно – вот правда. Скука – это более глубокая страсть, чем любовь. Любовь лжет, скука – никогда. Когда он спит днем (а спит он много, тяжело, с присвистом), я хожу по квартире на цыпочках. Я – призрак в чужой болезни. Это почетно. Призраков не выгоняют. Их не замечают.

Двадцать пять лет назад мы вместе работали. Я пытаюсь вспомнить его молодым. Не могу. Память отказала мне в этой любезности. Осталось только лицо, которое сейчас лежит на подушке: серое, с открытым ртом, с глазами, которые видят что-то, чего я не вижу. Может быть, он видит свою эмигрировавшую семью. А может быть, видит крыс из дешевых магазинов.

Госпитализация. Это слово звучит как приговор. Не ему – мне. Когда его положат на больничную койку (белые простыни, капельница, запах мочи и надежды), эта квартира станет пустой. Ключи он заберет с собой. зачем ему ключи в больнице? Он не говорил. Я не спрашивала. Спрашивать – значит признавать, что ситуация реальна. А я пока не готова. Я живу в режиме временного убежища, как вор, который залез в дом, пока хозяин спит, и замирает, услышав шаги.

Отель стоит дорого. Я пересчитала деньги. Если я пойду в отель – даже в самый дешевый, с общим душем на этаже и с клопами под обоями, – я съем свои накопления за неделю. А потом? Потом будет улица. Пусть даже в городе, где тебя никто не знает. Это позор. Потому что здесь до сих пор живут люди, которые могут меня узнать. Улица выдает меня с потрохами, говорит: «Смотрите, у этой женщины нет дома».

Раньше я любила гулять по улицам, когда была молодой и когда у меня не было наследства. Сейчас наследство есть, и улица пугает. Потому что деньги – это якорь. Они прирастают к телу, как ракушки к днищу корабля. Ты начинаешь бояться соленой воды.

Борис достает меня с магазинами. Он учит меня ходить в дорогие магазины. «В дешевых водятся крысы», – повторяет он. Он говорит это так часто, что я начинаю ему верить. Я смотрю

на его лицо и думаю: он боится крыс больше, чем смерти. Это смешно и свято. У каждого свой талисман. У него – чистые дорогие магазины без грызунов. У меня – пустой карман.

Я не буду ходить в дорогой магазин, чтобы платить вдвое раза больше. Хватит с меня и обычных магазинов. Я покупаю сыр, который не ем, потому что он слишком жирный. Я покупаю хлеб в упаковке, которая хрустит, как совесть. Потом я перестаю их покупать. Я варю себе геркулес и пью кефир. Растягиваю кашу на два раза и оставляю в пакете половину кефира. И что же? Борис съел мою кашу и выпил мой кефир. Мы ссоримся. Я гостья. С какой стати мне его содержать? Потом мы миримся. Пусть он ест мою кашу и пьет мой кефир. Я боюсь потерять эту комнату.

Мое унижение – это месть ему. Самая тонкая из всех, что я придумала. Потому что унижение – добровольное. Я буду ходить в дешевый магазин. Пусть бы я встречусь с крысами. Вместе с ними мы ангелы нищеты. У них нет сантиментов. Они грызут то, что есть. Они не требуют пармезана, как и я.

Сегодня ночью Борис спал, а я сидела на кухне, потому что отвыкла спать по ночам. Я слышала, как в стене скребется мышь. Или крыса. Значит, они уже здесь. В дорогом доме, с большим хозяином. Они пришли не за сыром. Они пришли за мной. Они чувствуют одиночество, как кровь. Они знают, что скоро эта квартира опустеет. И они первые поздороваются со мной на улице.

Я погладила стену. Там, где скреблось.

– Здравствуйте, – сказала я шепотом. – Мы еще встретимся.

Крысы – мои сообщники. Они просто ждут, когда ты упадешь, чтобы доесть остатки. В этом больше честности, чем во всех больных мужиках из соцсетей.

Завтра Борис выйдет на улицу и поведет меня в дорогой магазин. А я буду думать о том, что, возможно, когда его положат в больницу, я не пойду в отель. Я пойду в подвал. И крысы покажут мне дорогу. Они знают все ходы. Они – настоящие хозяева этого города. А я – всего лишь гостья. Пусть бы и без денег. Я не говорю ему про пенсию, полученную в банке. Впрочем, он это и так знает. Операционистка – его знакомая. Я пришла в банк по его рекомендации, и она обслужила меня без проволочек. Они с Борисом в сговоре. Я знаю, что каждый раз, когда я ухожу из дома, он обшаривает мои вещи, ищет деньги, которые я сняла в банке. Но денег нет, я их ношу в мешочке на груди. Я сплю с деньгами. Он не лезет. Он знает, что я жду наследства, и это совсем другая сумма, за которую он будет со мной бороться. Если только не будет в это время лежать в больнице.

Ночью Борис не спит, и мы разговариваем, поэтому я тоже приучилась вставать поздно. Мы живем в темноте, как два филина или два вора, которые отсиживаются на чердаке, пока город спит. Это справедливо. Днем слишком много света. Свет разоблачает. Он показывает морщины больного, мои мешки под глазами, а ночью же все становится мягким, зыбким, похожим на ложь.

Мы говорим о всякой ерунде. О том, кто кого предал двадцать пять лет назад. О том, почему его семья уехала, а он остался. Борис не говорит прямо. Он ходит вокруг и около, как кошка вокруг миски. Я тоже не говорю прямо. Я рассказываю ему про свою жизнь на новой родине, когда я езжу по разным концам города, потому что посещаю врачей, а они гонят меня, как бездомную собаку. Борис слушает и смеется. Не зло. Так смеются над ребенком, который придумал небылицу.

Я не обижаюсь. Правда не требует веры. Она просто есть. Как эти стены, как его болезнь, как мои два чемодана.

У меня два чемодана вещей, и оба полны старья с барахолки. Если их украдут в аэропорту, будет не жалко. Это тряпки, купленные за евро на блошином рынке, они расползаются, когда я их стираю. Зато в них можно спать три ночи подряд, а потом выбрасывать. Если их украдут, я не заплачу.

Но их никто не тронет. Сортировщик багажа в аэропорту, который помог мне стащить чемоданы с конвейера, взглянул на них и отвел глаза. Он понял: здесь нечего брать. Пустота внутри пустоты. Я кивнула ему – сообщнику. Он кивнул в ответ. Мы заключили молчаливый союз против мира, который таскает за собой кофры Louis Vuitton.

Магазины такие дорогие, что остается только красть.

Это аксиома. Не моральный выбор, а физический закон. Как гравитация. Тыходишь в супермаркет, видишь цену на помидоры – и рука сама тянется положить лишний в карман. Не потому, что ты жадна. А потому, что цена оскорбляет тебя. Она говорит: «Ты ничто, ты не можешь себе позволить плод, который вырос из земли бесплатно». Я беру то, что мне принадлежит по праву рождения.

Я не крада еду. Я украла сережки-гвоздики из магазина, где все по одному евро. Маленькие, серебряные (или не серебряные – какая разница?), в магазине мелочей, где пахло китайской пластмассой. Я взяла их двумя пальцами, как берут конфету, которую не собираешься есть. Положила в карман. Вышла. Сердце билось ровно. Потому что это была не кража. Это была инвентаризация. Я просто вернула миру его же легкомыслие.

Подарила Борису, у которого я сплю. Он открыл коробочку (я нашла коробочку в мусорном баке у магазина, подобрала, потому что без коробочки подарок – не подарок, а мусор). Он посмотрел на сережки. И засмеялся. Громко, так, что закашлялся.

– Зачем? – спросил он. – У меня семья в Израиле: старая жена и взрослый сын.

Я не ответила. Что я могла сказать? Что я украла их специально для него, потому что он единственный, кто ждет от меня подарок?

Он не понял. Он сказал, что это просто дешевая бижутерия. Но это не так. Это частица моего позора, которую я отдала. Когда дарят украденное, дарят не вещь. Дарят свою душу, которая в тот момент, когда пальцы сжимали сережки, была чиста, как у младенца. Он смеется. Пусть. Я все равно оставлю коробочку на тумбочке. Когда его заберут в больницу, а потом выпишут, он найдет ее у кровати. Может быть, тогда поймет.

Он сказал, чтобы я подарила кассирше из банка, которая со мной возилась.

Я опешила. Кассирша – это та, с длинными ногтями, которая считала меня бомжихой. Он знает ее? Оказывается, нет. Просто он ходит в этот банк. И она ему улыбается. И он решил, что она хочет его трахнуть.

– Это твоя знакомая? – спросила я.

– Нет, – ответил он. – Но она меня хочет.

Боже, какой же он сумасшедший. Старый больной мужик, который не может встать с дивана, уверен, что кассирша с длинными ногтями мечтает о нем. Это трогательно. Это жалко. Это прекрасно.

Я сказал, что не буду дарить ей серьги, потому что она выполняет свою работу.

Она не была со мной любезна, поджимала губы и пересчитывала купюры с небрежностью палача. Ей нет дела до того, жива я еще или уже умерла. Она – винтик. А винтикам не дарят подарков. Винтикам бросают подачку. Я не бросаю подачек. Я или ворую, или дарю от души.

Кассирша из банка не заслужила моих сережек. А Борис заслужил. Потому что он спит рядом со мной по ночам (не в одном смысле, а в прямом – храпит, ворочается, просыпается и спрашивает, который час). Он дал мне угол. Пусть временный. Пусть с выселением в перспективе. Но сейчас – сейчас это мой дом. И в этом доме живут старый смеющийся мужчина и женщина, которая не знает, что ее ждет завтра.

Я еще не дошла до конца своего падения. Но я близко. Очень близко. Я украла сережки. Я подарила их человеку, который не понимает дара. Я отказалась дарить их кассирше, потому что она – функция. И сегодня ночью, когда он снова не будет спать и мы снова будем говорить о всякой ерунде, я скажу ему:

– Ты знаешь, почему она хочет тебя трахнуть? Потому что ты – единственный клиент, который смотрит на нее как на женщину, а не как на банкомат с ногтями.

Он засмеется. Я тоже. И это будет наша общая кража. Мы украдем смысл у бессмысленного мира.

Получив свою маленькую пенсию, я отправилась к менеджеру, чтобы открыть счет, с которого можно перебросить деньги сыну, но мне отказали в услуге. По моему паспорту счет нельзя открыть, я не резидент этой страны. У меня паспорт не такой, как у всех.

Мой паспорт выдан там, где меня уже нет. Он словно сообщает банковским служащим: «Эта женщина – никто. У нее нет прав. Она может войти, но не может остаться». Я осмотрела его в увеличительное стекло – на свою фотографию, на цифры и буквы, которые ничего не значат.

Мне отказали в услуге. Вежливо. С улыбкой. Менеджер развела руками, извиняясь. «Не мы это придумали. Политика», – сказала она. Я хотела спросить: «А как же на небесах? Бог тоже отказывает нерезидентам?» Но не спросила. Потому что знаю ответ: да, отказывает. Небеса тоже закрыты для тех, у кого паспорт не того цвета.

Сын разочарован. Он звонил и спрашивал, как с деньгами. Я хотела перебросить деньги ему. Он – мой единственный мост в этот мир. Но у него нет денег, он сказал. У меня есть, но я не могу их ему дать, потому что банк отказывается проводить транзакцию. Это комедия. Это трагедия. Сначала делают тебя невидимым, а потом наказывают за невидимость.

От этого можно заболеть. Я постоянно пью таблетки, это антибиотики, мне требуется вода, чтобы их запивать. Поэтому я захожу в кафе и спрашиваю стакан воды у служителя. На меня косятся. В этой стране не принято просить бесплатную воду, тут надо что-то заказать.

Воздух еще бесплатный, но вода – уже нет. Я стою у стойки, держу в руке две таблетки (белую и розовую, как леденцы для смерти), и прошу: «Можно стакан воды, пожалуйста?» Бармен смотрит на меня так, будто я прошу у него почку.

Я вижу его взгляд. Он означает: «Ты не клиент. Ты попрошайка. Ты – угроза для заведения». Здесь царит атмосфера дорогого кофе и сыра, который я не ем. Я врываюсь в этот коктейль со своей просьбой, своим паспортом, своими антибиотиками. Я – грязь под ногтями их уюта.

Иногда мне подносят стакан воды. Иногда отказывают. Сегодня удачный день, девушка с кольцом в носу налила воду в пластиковый стаканчик – самый маленький, какой нашла. Я выпила, проглотила таблетки. Она не улыбнулась. Я не сказала спасибо. Мы разошлись врагами. Это честно.

Там, где я теперь живу постоянно, я не стесняюсь просить воду и пользуюсь туалетом в дорогих кафе. Они не смеют отказывать, хотя и ненавидят бродяг, вроде меня.

Там, дома (в той стране, где у меня нет дома, но есть паспорт, который там подходит), я – королева попрошаек. Я захожу в любую кофейню, прошу стакан воды, иду в туалет, мою руки, писаю, выхожу. Никто не смеет сказать мне «нет». Потому что там я – как все. У меня правильный цвет паспорта. Я имею право на воду и на унитаз. Это смешно. Это бессмысленно. Но это так.

Здесь я никто. И они это чувствуют. Как собаки чувствуют чужака. Я пахну по-другому. Мои таблетки – иностранные. Мой акцент – режущий слух. Даже моя просьба о воде звучит как признание в преступлении. «Простите, что я есть, дайте мне напиток, я уйду».

Попрошайка – вот мое истинное лицо. Я посмотрела в стаканчик, но он слишком мал, чтобы увидеть там свое отражение. Да и что я там увижу? Усталое старое лицо.

Мой сослуживец Борис спросил, чем я больна, раз постоянно принимаю антибиотики. Я ничем не больна, просто я боюсь заболеть здесь. Поэтому я вынесла мозг моему врачу (в той стране, где живу постоянно), и он выписал мне курс антибиотиков.

Борис любопытен, как кошку, ему нейдет. Он хочет знать все про меня. Он думает, что болезнь – это интересная история, которую я скрываю. «У меня рак», – сказал бы один. «У меня туберкулез», – сказал бы другой. А я говорю: «Я ничего не имею. У меня есть страх».

Страх – это моя болезнь. Антибиотики – это не лекарство. Это амулет. Я вынесла мозг врачу. Я звонила ему каждый день. Я говорила: «Я еду в страну, где микробы другие. Я старая. Я умру. Выпишите мне что-нибудь». Он сопротивлялся. Потом сдался. Врачи всегда сдаются, если проявить настойчивость. Это знание я вынесла из жизни: быть настойчивым – единственное оружие безоружного.

Теперь я пью таблетки утром и вечером. Они горькие. Они сушат рот. лишают аппетита. Они заставляют меня просить воду в кафе, где меня ненавидят. Но я не брошу. Потому что, если я брошу, страх вернется. А страх – это смерть без трупа.

Борис не понял. Он покачал головой: «Антибиотики без инфекции – это вредно». Я кивнула: «Знаю». И мы замолчали. Ему меня не понять. Он обычный человек и живет по правилам: болезнь – лекарство – выздоровление. А я живу по другим: страх – амулет – унижение – вода. Моя логика ему не доступна.

Сегодня я сижу на кухне у больного мужика. Он спит. Я глотаю розовую таблетку. Воды рядом нет. Я глотаю сухой. Она застревает в горле. Я давлюсь, кашляю, чуть не плачу от горечи. Водопроводная вода вредна, а другой у меня нет.

Я выпила свою горечь. Теперь я на полпути к просветлению. Осталось только потерять паспорт, перестать пить антибиотики и научиться спать на улице. Скоро, когда Бориса положат в больницу, у меня будет такая возможность.

Я не боюсь. У меня есть серьги-гвоздики, которые никто не носит. У меня есть два чемодана старья. У меня есть паспорт неправильного образца. У меня есть сын, который не может получить мои деньги. И у меня есть Борис, который спит и видит сны про кассиршу из банка.

Я сыта этим всем по горло. Богата унижением. Это единственное богатство, которое не отнимут.

Где я живу, водятся тараканы, они появляются ночью на кухне и в туалете. Возможно, скоро они заползут в спальню. Я отодвигаю кровать от стены и запираю чемодан на замок. Тараканы здесь – не просто насекомые. Они – посланцы. Они пришли из той жизни, которую я покинула. Из щелей старой кухни, из мусоропровода, из забытых коробок с материнскими вещами, которые я храню после ее смерти. Они знают меня. Они помнят запах моих духов, которыми я пользовалась двадцать лет назад.

Я боюсь их. Жду, что они перейдут границу. Спальня – это моя последняя территория. Туалет и кухня – это нейтральная полоса, где можно торговаться с миром. Но спальня – это алтарь. Там я сплю, там я думаю, там я прячу деньги в носки. Если тараканы заползут туда, значит, я проиграла.

Поэтому я отодвигаю кровать от стены. Создаю пустоту. Пустота – это ров. Тараканы не любят открытых пространств. Они любят щели, как полицейские любят доносы. Я оставляю между кроватью и стеной расстояние в ладонь. Достаточно, чтобы видеть врага. Недостаточно, чтобы он спрятался.

Чемодан на замке. В чемодане – мое прошлое. Старье с барахолки, тряпки, которые никто не купит. Но я запираю его. Потому что, если тараканы заползут в чемодан, они осквернят мои воспоминания. А воспоминания – это единственное, что у меня есть.

В доме у меня много вещей от родителей, все заставлено коробками со старыми платьями и мужскими костюмами. Не хватало привезти тараканов с исторической родины.

Историческая родина – как пафосно звучит. А на деле – это квартира на Каширке в панельном доме-пятиэтажке, где на кухне тек кран, а сосед сверху курит в туалете. Там хранились коробки, которые я перевезла на мою новую родину. С бабушкиными ложками. С мамин-

ными брошками. С коллекцией монет, которые всю жизнь собирал мой отец и которая никому не нужна.

Я не взяла их с собой сюда. Я оставила их там. И теперь тараканы здесь – это мсть. Мсть за то, что я уехала. За то, что я живу в чужой квартире у больного мужика. За то, что я променяла родительское наследство на два чемодана старья.

«Не хватало привезти тараканов с исторической родины», – говорю я Борису. Он смеется. Он не понимает, что я говорю серьезно. Тараканы – это моя ДНК. Они ползут за мной по всему миру. Они знают, где я. Они найдут меня в любой норе. Они – моя семья.

У себя дома я выходила на блошинный рынок торговать. Рынки открыты в теплое время по выходным, и туда может прийти любой желающий. Я отстояла восемь дней по восемь часов. Продала одни шторы, которые подарила сыну, а он отказался их забрать. А у меня их еще два комплекта.

Блошинный рынок – это храм. где торгуют. Там нет святых. Есть только торговцы и покупатели. Я была и тем, и другим. Я стояла за прилавком восемь часов, смотрела на прохожих, угадывала в них клиентов.

Шторы я купила их на распродаже, когда сын переехал в новую квартиру. Я думала: «Они повесит их, будет вспоминать обо мне». Он не повесил. Он сказал: «Мама, у меня другой стиль». Какой стиль? Потом дошло. Стиль без меня. Стиль, где нет места шторам, которые выбрала мать.

Я все равно подарила их. Он отказался забрать. Тогда я вышла на рынок. Я продала один комплект. За копейки. Женщина с рыжими волосами посмотрела на шторы, помяла их в руках и сказала: «Сойдет для дачи». Для дачи. Мои шторы, купленные с любовью, с надеждой, с болью – для дачи. Я взяла деньги. Купила на них хлеб и антибиотики.

Осталось два комплекта. Они лежат в чемодане. Под замком. Тараканы их не достанут.

Мой тамошний друг приехал, чтобы отвезти меня на блошку. Я вытащила стул, стол и коробки с барахлом. Все восемь часов он просидел в машине, а я простояла у прилавка, но продать удалось только один комплект штор.

У моего есть терпение. Он восемь часов просидел в машине, читал новости в телефоне, пил кофе из термоса. Он не вышел, чтобы помочь мне разложить стол. Он просто ждал. Как ждут, когда закончится дождь.

Я не злюсь. Он – друг. Некоторые не подставляют плечо, они просто сидят в машине и смотрят, как ты торгуешь шторами, которые никому не нужны. Это честно. Лучше, чем ложное сочувствие.

Я простояла восемь часов. Ноги гудели. Солнце жгло спину. Я улыбалась прохожим, зазывала их: «Шторы! Отличные шторы! Новые!» Они проходили мимо. Иногда останавливались. Спрашивали цену. И уходили.

Один комплект продала. Женщине с рыжими волосами я напомнила маму. Она торговалась. Я уступила. В конце она сказала: «Вы похожи на мою маму». Я не спросила, жива ли ее мама. Побоялась ответа.

Черт меня дернул купить эти комплекты на распродаже, но тогда я хотела сделать подарок сыну, он как раз переехал в новую квартиру. Он уже переезжает в шестой раз.

Сын кочует по квартирам, как вор по городам. Нигде не задерживается. Он собирает чемоданы, переезжает, теряет вещи, находит новых соседей. Я смотрю на него и вижу себя. Такой же неприкаянный. Такой же свободный. Только у него нет тараканов. Он не боится насекомых. Он боится другого – застоя.

Я купила шторы в подарок. Я думала, что шторы – это дом. Шторы – это корни. Если повесить шторы, квартира перестанет быть временным пристанищем, теперь это крепость. Но сын не хочет крепости. Он любит странствовать. Он переезжает в шестой раз, и каждый раз говорит: «Мама, это навсегда». Я уже не верю. Но каждый раз покупаю шторы.

Черт меня дернул. Черт – это любовь. Любовь без гарантий. Любовь, которая впаривает тебе три комплекта штор на распродаже, а потом заставляет стоять восемь часов на блошином рынке, чтобы продать один.

Я в убытке. Но я продолжаю. Потому что тараканы ползут, сын переезжает, шторы лежат в чемодане, а я все еще здесь. В чужой стране, в чужой квартире, с чужим больным мужиком, который спит и видит сны про кассиршу.

Сегодня ночью я не заперла чемодан. Пусть тараканы залезут. Пусть ползают по шторам. Может быть, они уползут на тот свет и передадут привет маме. Скажут ей: «Твоя дочь жива. Она все еще торгует. Она все еще ждет, что кто-то повесит ее шторы».

Ночью я не сплю. Я никогда не сплю. Мне лезут в голову мысли, и я мысленно пишу сыну сообщения: «Зачем ты бросил работу в Гугл, зачем съехался с девушкой Эстер, зачем сменил квартиру². Впрочем, связи у меня нет, и эти sms нельзя отправить. Да и мой сын их не читает. На звонки он не отвечает уже давно.

Борис жалуется на бессонницу, но он по ночам спит (сегодня он спал особенно тяжело, с присвистом, с бульканьем в груди), а я лежу на своей кровати, отодвинутой от стены, и смотрю в потолок. Там нет тараканов. Только трещина, похожая на карту прошлого. Я росла болезненным ребенком, с вечно больным горлом. Мама совала мои ноги в кипятик и приговаривала: «Давай скорей, пока вода горячая». реки. Я плыву по реке из кипятка. В страну, где живет мой сын. Надеюсь, он меня услышит.

Но он не слышит. Я давно уже говорю в пустоту. Мои слова – как антибиотики без инфекции. Они нужны только мне. Они лечат мою тоску, не прикасаясь к ней.

Зачем ты бросил работу в Гугл?

Название компании звучит как магия. Как страна, где печатают деньги на белой бумаге и раздают их тем, кто умеет считать. Мой сын умел считать. Он попал внутрь машины, которая правит миром. А он вышел. Сказал что ему скучно. Он хотел делать что-то своими руками. Потому что он – не я. Я бы никогда не вышла. Я бы вцепилась зубами в эту работу и не отпустила. Но он вышел. И я мысленно пишу ему: «Ты дурак». И тут же поправляюсь: «Ты свободен. А свобода стоит дороже Гугла. Я просто завидую».

Сын не читает. Он вообще не оглядывается. смотрит только вперед. На Эстер. на новую квартиру.

Зачем съехался с девушкой Эстер?

Я не знаю Эстер, никогда не видела ее лица. Только слышала голос однажды, когда сын случайно нажал на громкую связь. Она произнесла: «Скажи ей, что мы заняты». Он сказал: «Мама, мы заняты». И повесил трубку.

Эстер – это стена. Не та, от которой я отодвигаю кровать, а та, которую я не могу пробить. Она не плохая. Я не имею права ее судить. Я просто хочу спросить: «Эстер, ты любишь его? Ты будешь зашивать ему носки? Ты будешь ждать его ночью, когда он не придет? Ты будешь покупать ему шторы, которые он не повесит?»

Но я не спрашиваю. Потому что я – не свекровь. Я – никто. Мое мнение о Эстер стоит столько же, сколько мои шторы и серьги-гвоздики – почти ничего.

Сын, зачем ты сменил квартиру?

Он меняет квартиры, как я меняю страны. Только у него есть причина: он ищет место, где его оставят в покое. Где не будут звонить по ночам. Где не будут присылать sms с вопросами.

Я сама сбежала из родного города тридцать пять лет назад. Развелась и сменила фамилию, сменила адрес, страну, имя (почти). Я хотела, чтобы меня забыли. И меня забыли. Теперь сын хочет того же. Только забыть хочет меня.

Он живет так, как я мечтала жить, но не посмела. Без оглядки. Без штор. Без сообщений. Впрочем, связи у меня нет, и эти sms нельзя отправить.

Судьба оказывает мне милость. Если бы у меня была связь, я бы писала sms каждый час. Я бы превратилась в ту самую мать, от которой бегут. А так – я безобидна. Мои слова остаются в моей голове. Они застревают и гниют там, как забытые продукты в холодильнике. Про них знаю только я.

Я мысленно пишу sms. Пальцы двигаются по одеялу. Я нажимаю несуществующие кнопки. «Сынок, как ты?» – «Сынок, я получила наследство». – «Сынок, у меня тараканы». – «Сынок, что тебе привезти в подарок?».

Он не отвечает. Мои sms – как молитвы, они уходят в никуда. Но без них я бы сошла с ума. Потому что, если некому сказать, что у тебя тараканы, тараканы побеждают.

Мой сын не читает смс. На звонки не отвечает уже давно.

«Давно» – это сколько? Год? Два? Я боюсь считать. Время – это приговор. Я предпочитаю думать, что он просто занят. Что у него новая работа (лучше Гугла). Что Эстер готовит ужин. Что они счастливы.

Ложь – это единственный ковер, который согревает босые ноги.

Я не обижаюсь на не прочитанные sms. Не чувствую себя преданной. Я чувствую себя понятой. Сын делает то, чему я его научила: выживает. А выживание – это умение отключать телефон, когда звонит тот, кто напоминает о боли.

Я научила его не плакать. Не жаловаться. Не возвращаться. Он выучил урок слишком хорошо. Теперь он не возвращается ко мне.

Сегодня ночью я написала ему длинное sms. Мысленно. В нем было все: про тараканов, про Бориса, про кассиршу с длинными ногтями, про шторы, про антибиотики, про стакан воды из кафе, где меня ненавидят.

В конце я написала: «Я люблю тебя. Не отвечай».

Потому что, если он ответит, мне придется сказать правду. А правда в том, что я старая, больная (не антибиотиками, а тоской), бездомная (скоро) и совершенно счастливая. Потому что у меня есть сын, который не читает моих sms, и это значит, что он жив, свободен и не обязан меня спасать.

Меня забыли. Значит, я спасена.

Я закрываю глаза. Тараканы скребутся на кухне. Борис храпит. В чемодане лежат шторы. А в моей голове – sms, которые никто никогда не прочтет. Это мое послание в бутылке. Бутылка запечатана. Океан пуст.

Спокойной ночи, сын. Ты там, где ты есть. Я здесь. И это разные вселенные. Но обе – настоящие.

Мой товарищ Борис обещал купить шарики от тараканов, сварить гречку и сделать гуляш. Пока он размышляет об этом, но, когда я выходила из дома в 16 часов, он еще находился в постели и не даже не думал о том, чтобы приступить к готовке. Ни гречки, ни мяса у него дома нет.

Он расплачивается со мной обещаниями. Я делаю вид, что принимаю их за чистую монету.

Борис – профессиональный надувала. Он обещает шарики от тараканов, чтобы я перестала ныть. Он обещает гречку и гуляш, чтобы я думала, что он заботится. Но его обещания ничего не стоят.

Когда я выходила в 16 часов, он лежал на спине, уставившись в потолок. Глаза открыты, но внутри – пустота. Он не думал о готовке. Он думал о том, как бы прожить этот день, не вставая с постели. Вряд ли он вообще встанет к моему приходу.

В доме нет ни гречки, ни мяса. Я проверила шкафы, пока он спал днем. Пустые банки из-под селедки, пачка соли, чай без сахара. Холодильник гудел, как больной зверь, и внутри у него было только поле литра кефира. Борис не собирался меня кормить. Он рассчитывал,

что я возьму на себя готовку. Это его хитрый план: сделать так, чтобы жертва сама принесла еду в твою пещеру.

Говорит, что у него нет денег на мясо и гречку. Он рассчитывал, что я буду его кормить, раз живу у него. Логика проста, как удар ножом: я живу у него – значит, я должна платить. Не деньгами (деньги он не берет, это было бы не интеллигентно), а едой, заботой, терпением. Он предоставил крышу. Крыша с тараканами, с больным хозяином, с перспективой быть вышвырнутой на улицу. Взамен крыши я должна предоставить гуляш.

Это сделка. О ней мы не говорим вслух. Он не настаивает, а я не возмущаюсь. Я просто иду в магазин и покупаю то, что могу.

Выбираю кабачковую икру и хлеб с кориандром, и еще гречневые хлопья, которые заваривают на кипятке и едят сырыми, потому что это полезно. Борис опять раскритичится и потребует, чтобы я это выбросила.

Кабачковая икра. Хлеб с кориандром. Гречневые хлопья на кипятке. Это моя кухня, если так можно сказать про человека, который тридцать пять лет обходится без готовки. Кочует по чужим углам, питается тем, что дадут, заваривает кипятком в пластиковых мисках на вокзалах. Это не еда. Это ритуал. Я ем гречневые хлопья, потому что они не требуют варки. Они не требуют кастрюли. Они не требуют времени. Я заливаю их кипятком из чайника (чайник у Бориса, ржавый, с накипью). Жду три минуты, ем. Это быстро. Это дешево. Это напоминает мне, что я – солдат. А солдаты не привередничают.

Борис требует выбросить мою еду. «Это есть нельзя», – говорит он. Он говорит это с таким лицом, будто я ем тараканов. Он – человек, у которого в холодильнике только кефир, – учит меня, что есть можно, а что нельзя. Это смешно. Это трагично. Калека учит калеку, как правильно хромать.

Я пользуюсь подсолнечным маслом. Лью его в хлопья. Жирно, вкусно, вредно – говорят врачи. Но врачи далеко. А я здесь. Масло делает хлопья похожими на нормальную еду. Я закрываю глаза и представляю, что это ризотто. Или плов. Или что-то, что едят сытые люди.

Я выяснила, чем питается Борис – кошачьими консервами. Он много месяцев не ест ничего, кроме кошачьих консервов. Человеческая еда вызывает у него отторжение, и он перешел на кошачью. Это не экономия – сейчас он не беднее, чем был. Это не диета – врачи не рекомендовали. Борис говорит, что кошачьи консервы не требуют готовки. Он нашел способ упростить жизнь до трех действий: открыть банку, съесть, выбросить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.